В
ТИХОМ ОМУТЕ
РУСАЛКИ
ВОДЯТСЯ
18+

Луиза Шкляева

В тихом омуте русалки водятся

«Автор»
2026

Шкляева Л.

В тихом омуте русалки водятся / Л. Шкляева — «Автор», 2026

«В тихом омуте русалки водятся» — это история о любви, которая принимает разные формы. О страсти, вспыхивающей мгновенно и оставляющей после себя только пепел. О верности, которая прорастает сквозь боль. О тихой преданности, не требующей взаимности. И о любви безусловной — той, что заставляет отца шагнуть в тёмную воду, чтобы его дочь могла жить на земле.Эта повесть о выборе. О прощении, которое даётся труднее всего. О девочке, которой предстоит решить, кому принадлежать — земле или воде. О двух матерях — земной и водяной, — которые любят одно дитя одинаково. О докторе, который приехал лечить тело, а нашёл свою душу. О деревне, где вода светится в полнолуние, где лесная нечисть вплетает в косы бусины, а чёрный кот на самом деле не кот.И ещё — о памяти. Потому что вода помнит всё. Каждое слово, сказанное на её берегу. Каждую слезу, упавшую в неё. Каждую клятву, которую нельзя разорвать, — можно только исполнить.

© Шкляева Л., 2026
© Автор, 2026

Луиза Шкляева
В тихом омуте русалки водятся

В тихом омуте русалки водятся

ПРОЛОГ. КЛЯТВА НА МОСТИКЕ

Деревня Глубокий Лог покоилась в низине меж двух холмов, поросших смешанным лесом, где берёзы мешались с осинами, а ели — с корявыми дубами. С севера на юг, огибая холмы, текла река Старица — извилистая, своенравная, с глинистыми берегами, на которых росли плакучие ивы. Их длинные, точно девичьи косы, ветви свисали до самой воды и колыхались на течении, будто живые. Вода в Старице была тёмной, почти чёрной на глубине, и даже в самый ясный полдень не всякий отважился бы сказать, что видит дно. Местные не купались в этой реке — боялись. Говорили, что Старица помнит старые обиды, что она может утянуть в омут того, кто пришёл к ней с недобрым сердцем или пустыми обещаниями.

Через реку был перекинут деревянный мостик — узкий, из старых потемневших досок, которые прогибались под каждым шагом. Сразу за мостиком, на южном берегу, стояла мельница — низкое здание из почерневших от сырости брёвен, нависавшее над водой, как большой зверь на водопое. Колесо — в два человеческих роста, с тяжёлыми деревянными лопастями — вращалось почти безостановочно, и его мерный скрип стал для деревни тем же, чем для города — бой часов: привычным, не замечаемым, но необходимым. Водяная пыль вечно висела в воздухе вокруг колеса, и в солнечные дни над водой загоралась маленькая радуга — хрупкий мост между землёй и небом.

Дом мельника примыкал к мельнице с южной стороны — низкий, кряжистый, как и сама мельница. А сразу за домом, всего в нескольких шагах от крыльца, начиналось озеро — чёрное, гладкое, молчаливое. В его густой, тёмной воде отражались одни лишь облака; рыбы водилось до обидного мало, и даже та, что попадалась, была мелкой, костлявой, с белесыми глазами. Старики поговаривали, будто вода в озере слишком холодна для жизни, а дно уходит в такую бездну, что и верёвки не хватит измерить, — и там, в вечной темноте, таится нечто древнее, безымянное, не терпящее людского любопытства. Озеро никогда не замерзало — даже в самые лютые январи, когда Старица покрывалась толстым серым льдом, чёрная вода дышала холодным паром и оставалась жидкой.

На холме, над всей этой сырой низиной, стояла бревенчатая церковь. Стены её, сложенные из толстых сосновых брёвен, потемнели от времени и дождей, но купол всё ещё отливал голубизной на закате. Рядом с церковью — дом священника, отца Игнатия, такой же бревенчатый, с резными наличниками на окнах и крыльцом в три ступени. В палисаднике перед домом цвели мальвы — высокие, розовые и белые, они покачивались на ветру всякий раз, когда с озера задувал вечерний бриз.

В ночь перед свадьбой Орвина колесо не останавливалось.

Стоял конец августа — та пора, когда дни ещё полны тепла, а ночи уже дышат приближающейся осенью. Днём воздух был густым и сладким от запаха скошенной травы, от нагретой солнцем земли, от последних луговых цветов. Но к вечеру из оврагов начинал подниматься

туман — густой, белёсый, холодный. Он стелился по земле, заливал низины и доходил взрослому человеку до пояса. В ту ночь туман выдался особенно плотным, почти осязаемым — казалось, его можно резать ножом. Луна висела прямо над головой — круглая, жёлтая, окружённая радужным кольцом, и свет её, проходя сквозь влажную пелену, становился зыбким, колдовским.

В старом сарае на краю деревни гулял мальчишник. Низкое строение с земляным полом и щелястыми стенами, сквозь которые сочился лунный свет, было полно народу. Под потолочной балкой качалась керосиновая лампа, и тени от неё плясали на брёвнах, как живые. Пахло сеном, пылью, потом и самим самогоном — мутным, ядрёным, настоянным на хлебных корках. Орвин пил больше всех — не потому, что хотел напиться, а потому, что боялся завтрашнего дня.

Было ему двадцать три года. Высокий, крепкий, с широкими плечами и руками, привыкшими ворочать тяжёлые мешки с зерном, он казался старше своего возраста. Лицо — крупное, с тяжёлым подбородком и прямым носом. Русые волосы вечно падали на лоб, а глаза — светло-карие, в солнечный день отливавшие янтарём — смотрели на мир с любопытством и спокойной уверенностью. Но в ту ночь уверенности в кареглазом парне не осталось ни капли.

Завтра он должен был жениться. Анна, тихая и кроткая, с глазами цвета осеннего мёда, ждала его в доме отца Игнатия. Она любила своего жениха — любила искренне, безоглядно, как любят только раз в жизни. И Орвин любил её — так, как любят тепло родного дома, как любят землю, которая тебя кормит. Но где-то в самой глубине души мельника жило нечто иное — тёмное, голодное, безымянное. Оно поднималось всякий раз, когда он глядел на воду под колесом, на то, как она бурлит, пенится, бросается на лопасти с исступлённой, почти животной страстью. Это чувство пугало его — и одновременно тянуло к себе, как тянет к себе край пропасти.

Добрый молодец выбрался из сарая, пошатываясь, в одной рубахе и широких льняных штанах. В пьяном угаре он где-то потерял ремень и теперь придерживал штаны рукой, чтобы не свалились. Ночной воздух обжёг разгорячённое лицо, но не отрезвил — лишь сделал мир зыбким, колеблющимся, словно отражение в потревоженной воде. Ноги сами понесли его вниз по склону, к мельнице, и туман обтекал высокую фигуру, как молоко. Колесо скрипело — мерно, ритмично, — и этот звук, знакомый с детства, сегодня казался зовом.

Мостик встретил Орвина привычным скрипом. Доски качнулись под его тяжестью — и вдруг замерли.

Кареглазый юноша поднял голову. На перилах, прямо напротив, сидела дева невиданной красоты. Белая, как первый снег, как сердцевина лилии, как лунный свет на воде. Волосы — длинные, ниже талии, цвета водяной пены — струились по плечам и спине, мокрые, блестящие, но с них не капало. Кожа светилась изнутри, будто под ней горел холодный голубой огонь. Глаза — огромные, без зрачков, цвета глубочайшей воды — смотрели на мельника с тем особым спокойствием, какое бывает лишь у существ, живущих вечно. Губы — бледно-розовые, чётко очерченные — не улыбались, но и не были суровы. Незнакомка была обнажена, и её тело, плавное и обтекаемое, казалось не выточенным из плоти, а сотканным из самой воды. Плечи покатые, грудь округлая, талия узкая, бёдра широкие и гладкие — всё в ней дышало той нечеловеческой, пугающей гармонией, которая завораживает и лишает воли. Русалка сидела на перилах неподвижно, как статуя, и от неё исходил холод — не ледяной, не обжигающий, а свежий, как вода из родника в самый жаркий день.

Водяная красавица медленно поднялась. Босые ступни коснулись досок — и дерево не скрипнуло. Она приблизилась к Орвину вплотную, и мельник всем телом ощутил этот холод — кожей, костями, самой душой. Пальцы его, сжимавшие край штанов, дрожали. Но вовсе не от холода.

— Ты звал меня? — спросила Русалка. Голос её, мягкий и глубокий, напоминал журчание ручья по камням. Он звучал не снаружи — внутри: в голове, в груди, в самом сердце Орвина. Он обволакивал, проникал, заполнял собою всё.

— Не звал, — выдохнул парень. Язык едва слушался.

— Звал, — нимфа покачала головой, и волосы её колыхнулись, точно водоросли на течении. — Мысленно. Я смотрела на тебя со дна озера. Каждый божий день. Ты приходил к воде и вглядывался в глубину — пытался разглядеть меня. Всякий раз думал, что тебе чудится, гнал от себя эти мысли, старался не верить в деревенские небылицы, что твердят здешние сплетники. Но я была там. Я есть. Я всегда была рядом.

Мельник открыл рот — и не смог произнести ни звука. Всё, что говорила дева, было правдой. Он действительно вглядывался в воду, искал в ней что-то, сам не зная что. По ночам, когда луна отражалась в озере, ему чудилось, будто под поверхностью движется свет — живой, зовущий.

— Твой голос... — наконец выдавил он. — Я слышал его прежде.

— Показался тебе знакомым, верно? — в тоне нимфы мелькнуло что-то похожее на нежность.

Молодец кивнул. Голова шла кругом.

— Неудивительно, — продолжала водяная дева. — Ведь я пела тебе долгими бессонными ночами. Когда ты ворочался в постели, не в силах уснуть, когда грызли тебя переживания и печаль, когда тоска сжимала горло — я пела тебе. Мой голос долетал до тебя сквозь воду и туман, заглушал тревоги, убаюкивал, отправлял в глубокий сон. Рассудок твой этого не помнит, но тело помнит. Потому ты вздрагиваешь сейчас. Потому сердце твоё колотится так, будто узнало родное.

Мирель протянула руку и коснулась щеки Орвина. Пальцы русалки были гладкими и влажными — от этого прикосновения по телу мужчины прошла дрожь, от макушки до пят. Кровь быстрее побежала по жилам, прилила к лицу, к низу живота.

— Я не враг тебе, — проговорила дева тихо. — Я здесь не затем, чтобы навредить.

— Тогда зачем?

— Я подарю тебе кое-что.

— Что?

Она подалась ещё ближе — так, что лица их едва не соприкоснулись. Мельник чувствовал её дыхание: прохладное, с ароматом мяты, что в изобилии росла по берегам озера.

— Наслаждение, — ответила нимфа. — Твои собственные фантазии, которые ты прячешь даже от самого себя. Те, о которых думаешь, когда лежишь без сна. Любовь, о которой не смеешь просить земную женщину.

— Откуда тебе знать? — голос Орвина сорвался.

— Я смотрела на тебя со дна. Долгие годы. Я видела твои сны, твои желания, твои страхи. Ты боишься, что брак с Анной станет пресным, что жизнь превратится в череду одинаковых, серых дней, что страсть угаснет, не успев разгореться. Я здесь, чтобы показать тебе: она не угаснет. Она просто примет иную форму. Водную форму. Вечную.

Мирель прижала ладонь к груди парня — туда, где гулко колотилось сердце. Ткань рубахи немедленно намокла.

— Я могу дать тебе то, чего не даст ни одна смертная женщина, — сказала Русалка. — Вкус жизни. Вода — это жизнь. Вода — это вечность.

Добрый молодец стоял, не в силах пошевелиться. Внутри у него всё звенело от напряжения.

— Я люблю Анну, — вымолвил он, но голос предательски дрогнул.

— Конечно, любишь. И я не собираюсь отнимать тебя у неё. Я прошу лишь одну ночь. Одну-единственную. Этого довольно, чтобы ты запомнил меня навсегда.

Дева подалась вперёд и поцеловала мельника. Вкус её губ оказался ошеломляющим: родниковая вода, мята и какая-то необычайная сладость — словно замёрзший мёд, тающий на языке. Губы нимфы были прохладными, но когда кареглазый юноша ответил на поцелуй — почти против собственной воли, почти неосознанно, — они стали теплеть. Мирель приоткрыла рот и влила парню один-единственный глоток воды. Орвин проглотил — и по телу разлилось мягкое, обволакивающее тепло, которое странным образом сочеталось с острым, пьянящим возбуждением.

— Не бойся, — прошептала Русалка. — Доверься мне.

Она стянула с него рубаху; мокрая ткань шлёпнулась на доски. Штаны упали следом — мельник отпустил их, позабыв обо всём на свете. Прохладные ладони водяной девы легли на плечи мужчины, медленно прошлись по торсу, спустились к животу. Каждое прикосновение отзывалось в теле парня волной мурашек и жара. Нимфа наклонилась и прижалась губами к его шее — туда, где под кожей часто-часто бился пульс. С губ Орвина сорвался глухой стон.

— Тише, — выдохнула Мирель. — Сейчас только ты и я. Только вода и воздух. Больше никого нет.

Она опустилась на доски, увлекая его за собой, и легла на спину, раскинув волосы по дереву, — и они замерцали в лунном свете, точно серебряные нити. Тело доброго молодца

нависло над ней. Ладони парня прошлись по плечам красавицы — гладким и прохладным, как речная галька. Пальцы скользнули ниже, к груди — округлой, упругой, — и от прикосновений мельника на коже русалки проступило волшебное голубоватое свечение. Всюду, где рука Орвина касалась нимфы, рождался свет.

Мирель обхватила талию мужчины ногами; её щиколотки были изящными и прохладными. Юноша провёл пальцами по бёдрам девы — плавным, гладким, влажным. Водяная красавица вздохнула, и вздох этот походил на тихий плеск волны о берег.

Добрый молодец целовал прекрасную русалку — медленно, неспешно, смакуя каждое мгновение. Запястья, сгибы локтей, нежную ложбинку у ключиц. Кожа нимфы на вкус была сладостной, как сахар, — во всяком случае, именно так казалось одурманенному страстью Орвину. Пальцы девы скользили по его мускулистой спине, оставляя прохладные, чуть влажные дорожки.

— Ты этого хочешь, поверь, — прошептала Мирель.

И юноша вошёл в её лоно — медленно, одним долгим, плавным движением.

Мир переменился.

Сперва — прохлада, от которой перехватило дыхание. Но уже через несколько ударов сердца холод отступил, сменившись живым, пульсирующим, влажным теплом. Тело русалки приняло Орвина, обволокло со всех сторон, и мужчине почудилось, будто он не с женщиной — с самой водой, тёплой, дышащей, живой.

Нимфа двигалась под ним плавно, как течение. Бёдра девы поднимались и опускались в медленном, завораживающем ритме, и кареглазый юноша подстроился под этот ритм всем своим существом. Очень скоро их движения слились воедино; мельник перестал управлять собой. Добрый молодец был заворожён, околдован, потерян.

Лунный свет падал на переплетённые тела. Бронзовая, разгорячённая кожа Орвина и белая, светящаяся кожа Мирель — вместе они выглядели как мрамор и тлеющий янтарь. Всюду, где их тела соприкасались, струился мягкий, ласковый свет.

— Как тебя зовут? — выдохнул мельник, не прекращая двигаться.

— Мирель.

— Мирель... — повторил парень, и имя легло на язык холодком. — Мирель, я люблю тебя.

Русалка замерла. Глаза её вспыхнули ярче.

— Скажи это снова.

— Я люблю тебя. Ты прекрасна.

— Люблю...

Дева притянула Орвина к себе и поцеловала — жадно, глубоко, и в этом поцелуе была печать. Мужчина всем своим существом ощутил, как что-то внутри него меняется — необратимо, навечно. Невидимая нить протянулась от его сердца к её сердцу и затянулась тугим узлом.

Одним текучим, почти неуловимым движением Мирель оказалась сверху. Ладони русалки упёрлись в его грудь; волосы упали вперёд, завесой окутав их лица. Лунный свет обрисовывал плечи, талию, бёдра красавицы серебряным контуром на фоне чёрного неба.

Водяная нимфа овладела мужчиной.

Тело её опустилось на Орвина, принимая его в себя до самого конца. Теперь Русалка двигалась уже не плавно — жадно, неистово. Бёдра девы скользили по нему, то замедляясь до мучительной, дразнящей нежности, то ускоряясь до яростного, почти звериного ритма. Красавица стонала, впиваясь тонкими пальцами в кожу мельника; доски под ними скрипели, вода внизу пошла кругами, будто вторя их движениям.

Русалка была прекрасна в этой похоти — белоликая, изящная, влажная, — и Орвин смотрел на неё снизу вверх, не в силах оторвать взгляда. Запястья девы были тонкими, изящными; пальцы впивались в плечи парня; талия изгибалась, точно речной тростник на ветру. Она была водой — и жарким огнём одновременно.

— Ты мой, — прошептала Мирель.

— Твой. Навеки.

— Клянись мне.

— Клянусь. Я твой.

Дева ускорилась — и волна, нараставшая в мельнике, сделалась неудержимой, ослепительной. Тело русалки содрогнулось одновременно с телом мужчины; красавица запрокинула голову, и с губ её сорвался долгий, низкий стон — как гул далёкого водопада. Голубое свечение вспыхнуло с такой силой, что на краткий миг затмило луну.

Затем всё стихло. Мирель соскользнула с Орвина и легла рядом, положив голову ему на грудь. Дыхание её постепенно выравнивалось. Рука мужчины обвила талию русалки. Они лежали на мокрых досках, глядя в небо, где уже начинали гаснуть первые звёзды.

Нимфа знала, что сделал мельник. Парень дал ей клятву — вечную, нерушимую, — и дева знала, чем это обернётся. Первенец, рождённый от Орвина, будет принадлежать воде. Но она промолчала. Мужчина был счастлив. Мирель было хорошо. Остальное могло и подождать.

— Что теперь? — спросил кареглазый юноша, глядя в светлеющее небо.

— Теперь ты вернёшься домой, — ответила Мирель. — Завтра ты женишься. Будешь жить своей земной жизнью. Но когда у воды ты позовёшь меня — я приду.

— Честно?

— Ну разумеется.

Нимфа поцеловала парня в лоб. Губы её были уже совсем холодными.

— Спи.

И Орвин провалился в глубокий, беспамятный сон.

Утро застало мельника на досках мостика. Солнце только вставало над холмами, окрашивая небо в бледно-розовый цвет. Рубаха и штаны промокли насквозь. Юноша поднёс ладонь к лицу — кожа пахла мятой. Где-то в самой глубине души добрый молодец знал: минувшей ночью случилось нечто важное, что перевернуло всю его жизнь. Навсегда.

*****

А в доме отца Игнатия, в тот самый час, когда Орвин давал клятву на мостике, произошло событие, которому Анна поначалу не придала значения. Девушка уже легла в постель — завтра ей предстояло стать женой, и она хотела выглядеть отдохнувшей. Она лежала, глядя в потолок, и думала о завтрашнем дне, о белом платье, о венце из лилий, о том, как возьмёт Орвина за руку и скажет заветные слова, — как вдруг грохот разорвал тишину.

Икона Богородицы — та самая, что много лет назад нарисовала её покойная мать, — сорвалась со стены. Дубовый штырь, державший её, выскочил из бревна, и рамка рухнула на пол. Стекло разбилось вдребезги, и осколки брызнули во все стороны. Анна вскочила, зажгла свечу, бросилась к иконе — и замерла. Осколки поблёскивали на полу в дрожащем свете. Рамка треснула в углу, но сам рисунок уцелел. Богородица, изображённая по византийскому канону, смотрела на Младенца Христа взглядом, полным предвидения Его будущих мук. «Се, Раба Господня», — значилось внизу неровными материнскими буквами.

Девушка прижала икону к груди и перекрестилась.

— Сквозняк, — прошептала она, хотя сердце колотилось где-то у самого горла. — Просто сквозняк.

Она собрала осколки, положила икону на сундук и вновь улеглась. Но сон больше не шёл. Где-то глубоко внутри, под слоем усталости и радостного волнения, уже ворочалась смутная, беспричинная тревога. Анна ещё не знала, что в этот самый миг её жених стоит на мостике и даёт клятву другой.

*****

Свадебный день выдался на редкость погожим. Солнце заливало холм, на котором стояла церковь, и трава под ногами многочисленных гостей казалась золотой. Церковь изнутри украсили полевыми цветами — ромашками, васильками, колокольчиками, — и воздух дрожал от запаха сена, воска и ладана. Отец Игнатий в белом облачении ждал у алтаря.

Анна вошла под радостный гул голосов. Белое льняное платье струилось до самого пола; по подолу шла искусная вышивка — крошечные лилии, вышитые белым по белому. Длинные рукава были собраны у запястий на перламутровые пуговицы; фата из старинного кружева мягко мерцала при каждом шаге. В волосы невесты вплели живые цветы — те самые белые лилии, что росли в палисаднике у церкви. Анна была прекрасна той чистой, нетронутой красотой, которая бывает лишь у очень юных и очень счастливых девушек. Высокий лоб, тонкие брови, длинные ресницы, румянец на щеках — всё в ней дышало счастьем. Она смотрела на Орвина, и в её глазах стояли слёзы.

Жених ждал у алтаря в новом красном кафтане. Он бережно взял невесту за руку.

— Я люблю тебя, — прошептала Анна.

— И я тебя люблю, моя милая, — ответил мельник.

Отец Игнатий спросил о согласии; молодые ответили. Священник возложил венцы — Анне из белых лилий и пшеничных колосьев, Орвину из дубовых листьев — и произнёс молитву. Хор грянул торжественную песнь. Гости зааплодировали. Молодых осыпали зерном и белыми лепестками, и Орвин улыбался, стараясь не думать о том, что где-то на самом дне памяти колышется, как вода в озере, воспоминание о прохладных губах, мятном вкусе и голубом свете.

Анна сжала его ладонь.

— Мы будем счастливы, — сказала она.

— Да, — ответил юноша. — Будем.

*****

Пир накрыли на лугу у мельницы, между рекой и озером. Августовская ночь стояла тёплая и безветренная, и столы, сколоченные из длинных досок, ломились от яств. Чего здесь только не было: румяные караваи с хрустящей коркой, пироги с рыбой и с капустой, холодец, варёные яйца, солёные огурцы из дубовой бочки, копчёная рыба, жареные гуси и куры, истекающие жиром, и, разумеется, самогон — мутный, ядрёный, настоянный на хлебных корках. Глиняные кружки то и дело сталкивались с весёлым звоном; крики «Горько!» разносились по всей низине, отражаясь от холмов.

Анна, раскрасневшаяся и счастливая, сидела во главе стола; Орвин, прямой и торжественный, но уже слегка захмелевший, обнимал её за плечи. Напротив молодых сидел отец Игнатий, позволивший себе чарку-другую и взиравший на дочь с тихой, умиротворённой радостью. Грета держалась особняком — пила травяной взвар и молчала, но в её тёмных, цепких глазах временами мелькало что-то, похожее на тень. То ли тревога, то ли знание. Впрочем, в тот день никто не обращал на это внимания.

Когда солнце окончательно скрылось за холмами, а небо налилось густой фиолетовой синевой, зажгли костёр. Пламя взвилось к самым звёздам, и ребятишки с визгом бросились врассыпную, чтобы через минуту, осмелев, начать прыгать через огонь. Следом потянулись и

взрослые. По старинному поверью, если молодая пара прыгнет через свадебный костёр, взявшись за руки, и не разомкнёт их, то брак будет долгим и нерушимым.

Орвин и Анна прыгали вместе. Мельник держал жену крепко, и она не вырывалась — напротив, стиснула его ладонь так, что побелели костяшки. Они взлетели над пламенем, и на миг их тени слились в одну на фоне жёлтого огня. Толпа ахнула, а когда молодые, целые и невредимые, приземлились на траву, грянул такой восторженный рёв, что его, верно, слышали в соседней деревне.

Вокруг костра уже водили хоровод. Девушки взялись за руки, парни — следом за ними, и живой, движущийся круг поплыл по лугу. Юбки взметались, платки развевались, сапоги топали в такт старым песням — тем, что пели ещё бабки нынешних невест. Про белую лебёдушку, про ясного сокола, про горькую долю и про счастливую любовь. Анна пела вместе со всеми, и её высокий, чистый голос вплетался в общий хор. Орвин стоял чуть поодаль и не мог отвести от неё глаз.

На смену хороводам пришли девичьи гадания. Анна, как замужняя женщина, уже не имела права в них участвовать — она осталась за столом, прижимаясь к плечу мужа, и с улыбкой наблюдала за подругами. Её собственный венчальный венок лежал перед ней на скатерти, и Анна не знала, куда его деть.

Сначала венки полетели в костёр. Девки выстроились полукругом у огня, и пламя принимало их дары по-разному: одни вспыхивали мгновенно, суля скорое замужество, другие тлели долго и неохотно, третьи и вовсе падали на угли, не занявшись, — и тогда их хозяйки отходили прочь со слезами на глазах.

Следом настал черёд кидать венки в толпу. Красавицы, смеясь и краснея, поворачивались спиной к парням и бросали свои творения через голову, а те гурьбой кидались ловить — считалось, что поймавший венок станет суженым. Один плечистый парень изловил сразу два и стоял, растерянно вертя их в руках, под дружный хохот толпы. «Двух жён заведёшь!» — выкрикнул кто-то, и хохот сделался ещё громче.

Когда костёр прогорел, а небо на востоке начало светлеть, некоторые из подруг отправились к реке. Каждая несла маленький веночек с зажжённой лучинкой, и вскоре по тёмной воде Старицы поплыли, точно звёзды, десятки огоньков. Если венок плыл ровно и далеко — быть хозяйке счастливой; если кружился на месте — жди беды; если гасла лучинка — к болезни; если венок тонул — это был самый страшный знак, суливший смерть до следующей осени. Анна глядела на уплывающие огоньки и улыбалась, ещё не зная, что вода, уносящая эти венки, — та самая, в которой живёт Мирель, и что однажды эта вода заберёт у неё мужа.

Тут к ней приблизилась Грета. Повитуха двигалась бесшумно, словно тень, и Анна вздрогнула, заметив её рядом.

— Не знаешь, куда венок деть? — спросила старуха, кивая на венчальный венец.

— Не знаю, — призналась Анна. — В огонь — нельзя, я уже замужняя. В воду — тоже.

— И правильно. Замужней бабе венок — не для гаданий. Он для другого.

Грета взяла венец в руки — бережно, точно живую птицу, — и её скрюченные пальцы пробежались по цветкам, по колосьям, по стеблям.

— Венчальный венок — это оберег, — негромко проговорила она. — Самый сильный из всех, что могут быть у женщины. Он вбирает в себя благословение, данное в церкви. Его нельзя жечь, нельзя топить. Его надобно повесить над дверью — туда, где вы станете жить с мужем. Он защитит порог от нечисти, от хвори, от дурного глаза. Всякое зло, что попытается войти, запутается в его стеблях и не пройдёт.

Анна помолчала, глядя на венец, и решилась задать вопрос, который вертелся на языке:

— А если хворь доберётся до супругов? До меня или до мужа?

Грета посмотрела на неё долгим взглядом. В её тёмных глазах мелькнуло что-то — не жалость, нет, скорее понимание.

— Тогда сними с венка пару травинок — только аккуратно, с молитвой, — залей кипятком и дай испить больному. Сила венка перейдёт в отвар. Но помни: венок не бесконечен. Каждая отнятая травинка — часть его силы. Когда-нибудь он иссякнет. Береги его для самого важного. Для детей. Для мужа. Для себя — в самую последнюю очередь.

— В последнюю очередь, — эхом повторила Анна.

— Ты — будущая мать, — просто сказала Грета. — Сначала те, кого ты любишь. Потом — ты. Так было всегда. Так будет и впредь.

Анна кивнула и прижала венок к груди. Ей почудилось, что от него исходит тепло — не от увядающих цветов, а от слов, от благословения, от обещания, которое она только что дала себе. Она сбережёт этот венок. И тех, кого любит, — до последней травинки.

Грета поднялась, опираясь на клюку.

— А теперь пойди попляши с мужем. Праздник — он для живых.

И она растворилась в предрассветных сумерках.

Анна ещё долго смотрела на венец в своих руках. Белые лилии уже начали увядать, но всё ещё пахли — тонко, сладко, по-свадебному. Она решила: завтра же, едва они с Орвином переступят порог своего нового дома, этот венок повиснет над дверью. И будет висеть там. Всегда.

После настало время для ещё одиного старого обычая — разувания невесты. Девушки окружили Анну, усадили на скамью и, хохоча и перешёптываясь, стащили с неё белые туфельки. Орвин отсчитал горсть медяков, выкупил их и собственноручно надел жене на ноги под общий одобрительный гул.

Гуляли до самого рассвета. Костёр давно прогорел, угли подёрнулись седым пеплом, а самые стойкие гости всё ещё сидели за столами, допивали остатки самогона и затягивали тихие, задушевные песни. Орвин обнимал жену за плечи, и Анна прижималась к нему, усталая, но безмерно счастливая. Её голова покоилась у него на груди, и мельник чувствовал, как ровно

и спокойно бьётся её сердце. Она заснула так, под утро, под мерное гудение голосов и треск догорающих поленьев. Он поцеловал её в макушку и закрыл глаза.

Но где-то в самой глубине души, под слоем усталости и хмеля, ворочалась память о минувшей ночи. О прохладных губах. О мятном вкусе. О голубом свете.

Орвин отогнал эту мысль. Сегодня — его день. День его свадьбы.

А завтра начнётся жизнь. Настоящая. Долгая. И она начнётся.

Глава 1. СУХАЯ ЗЕМЛЯ

За три года вода в Старице не изменилась. Она всё так же текла с севера на юг, огибая холмы, и у мельничного колеса падала с каменистого уступа, вращая тяжёлые деревянные лопасти. Вода была тёмной, густой, и только у самого колеса, где плицы били по ней с мерным гулом, она вскипала белой пеной и разлеталась брызгами. Брызги оседали на досках мостика, на стенах мельницы, на крыльце дома, что стоял тут же, на южном берегу, примыкая к мельничному срубу. Чуть дальше, за домом, начиналось озеро — чёрное, гладкое, молчаливое. Его вода никогда не замерзала, и старики говорили, что озеро это бездонное.

Дом мельника был низким и кряжистым.

Брёвна, из которых его сложили, потемнели от времени. Нижние венцы позеленели от сырости, кое-где проступила плесень. Крыша, крытая дранкой, местами прохудилась. После сильных дождей на чердаке скапливалась вода, и тогда в комнатах пахло особенно остро — прелыми листьями, старым деревом, чем-то затхлым. Анна подставляла тазы и вёдра, но вода всё равно находила путь — капала с потолка, стекала по стенам, собиралась в лужицы на полу. Она ненавидела этот запах. Но за три года привыкла.

Окна в доме были маленькими, забранными слюдой, которая пожелтела и потрескалась. Свет проходил сквозь них с трудом, и внутри всегда царил полумрак. Анна зажигала свечи даже днём. Тени от свечей метались по стенам, и ей иногда казалось, что в углах кто-то стоит. Она не оборачивалась. Боялась.

В большой комнате, которая служила и кухней, и столовой, стоял грубо сколоченный стол, две лавки и большой кованый сундук с приданым Анны. Над столом висела икона Богородицы — та самая, что нарисовала её мать. Анна подняла её после того ночного падения, вставила в новую рамку попроще и повесила на прежнее место. Трещина в углу старой рамки так и осталась — память о той ночи, когда всё пошло не так. Перед иконой всегда горела лампадка. Анна зажигала её каждое утро и каждый вечер, и маслянистый огонёк отражался в серебряном окладе. Она молилась подолгу, стоя на коленях на жёстком полу. Молилась о ребёнке. Губы шевелились беззвучно, пальцы сжимали край платка. Но Богородица смотрела на неё с иконы отстранённо и печально, и ответа не было.

*****

Анна впервые заметила его вскоре после свадьбы. Чёрный кот — тощий, с гладкой, лоснящейся шерстью и круглыми жёлтыми глазами — сидел на лавке у печи и вылизывал лапу с таким видом, будто жил здесь всегда.

— Ты чей? — спросила Анна, протягивая руку.

Кот поднял голову, посмотрел на неё долгим, оценивающим взглядом и позволил погладить. Шерсть была тёплой и необычайно мягкой. Анна почувствовала странное успокоение, словно сам дом через этого кота признал её хозяйкой.

— Орвин, — позвала она мужа, — у нас кот завёлся. Ты знал?

Орвин выглянул из-за двери, хмыкнул.

— А, этот. Он ещё при жизни отца к нам заглядывал. Мышей ловит — лучше всяких ловушек. Ты его не гони. Угощай иногда молоком или рыбёшкой. Он хороший.

— А чей он?

— Ничей. Такие коты — они сами себе хозяева. Приходит, когда хочет, уходит, когда вздумается. Но если уж поселился — значит, дом ему по нраву. И хозяева тоже.

С тех пор Анна часто замечала его в самых неожиданных местах: то на полке с горшками, то на подоконнике, то у самой двери, будто он кого-то ждал. Иногда он и правда пропадал — на несколько дней, а то и на неделю, — а потом возвращался, как ни в чём не бывало, и усаживался у печи, словно и не уходил. Анна привыкла к нему. Привыкла к его жёлтым глазам, к его бесшумной походке, к тому, как он трётся о её ноги, когда она готовит ужин. Он стал частью дома. Частью семьи.

Иногда ей казалось, что кот провожает её взглядом, полным какого-то понимания. Но она гнала эти мысли. Мало ли что привидится одинокой женщине в старом доме над водой.

*****

Богородица на рисунке смотрела не на молящегося — её взгляд был устремлён на Младенца Христа, сидящего у неё на руках. И в этом взгляде была не просто материнская любовь. В нём было предвидение. Божия Матерь знала, что ждёт Её Сына. Знала о кресте, о муках, о смерти. И всё же согласилась. «Се, Раба Господня», — было написано внизу, под рисунком, неровными материнскими буквами. Анна помнила эти буквы с детства. Мать выводила их тонкой кистью, высунув язык от усердия, а маленькая Анна сидела рядом и смотрела.

Теперь, три года спустя, глядя на Богородицу, она часто задавалась вопросом: может, падение иконы в ночь перед свадьбой было знаком? Может, ей пытались сказать, что брак, который должен был стать благословением, с самого начала был отравлен?

Скатерть на столе была из грубого льна, но по краю шла вышивка — та самая, которую Анна сделала ещё в девушках, готовя приданое. Узор был не просто для красоты. Мать научила её вышивать оберегные знаки: волнистая линия — символ воды, ромб с точкой посередине — символ засеянного поля и плодородия, крест — защита от злых сил. Анна вышивала их долгими вечерами, думая о будущем доме, о муже, о детях. Теперь, глядя на потускневшие нити, она думала: может, оберег не сработал? Может, она что-то сделала не так?

На полотенцах, висевших у печи, тоже была вышивка: петухи — символ рассвета и пробуждения, дубовые листья — знак мужской силы, красные маки — память о предках. Всё это должно было хранить дом.

Но дом не был храним.

Над дверью висел венчальный венок — тот самый, из белых лилий и пшеничных колосьев, которым её венчал отец Игнатий. Анна повесила его на следующее утро после свадьбы, как велела Грета, и с тех пор он висел, темнея от времени и сырости. В первые годы Анна смотрела на него с нежностью. Потом — с надеждой, когда молилась о ребёнке. Теперь — с горьким недоумением. Грета сказала, что венок — оберег, что он защитит дом от нечисти, от хвори, от дурного глаза. Но он не защитил её от самого страшного — от пустоты, что поселилась внутри.

*****

Анна подошла к мельнице с корзиной в руке — несла мужу обед: краюху хлеба, кусок сала, крынку молока. День стоял жаркий, душный, даже здесь, у воды, где обычно веяло прохладой. Колесо скрипело, перемалывая зерно, и его мерный гул отдавался в досках мостика.

Она толкнула тяжёлую дверь и вошла. Внутри пахло мукой, деревом и потом. Солнечный свет проникал сквозь щели в стенах и падал косыми полосами на усыпанный мукой пол. И в этих полосах света, по пояс обнажённый, стоял Орвин.

Он не услышал её — слишком был занят. Он поднимал мешки с зерном — один за другим, — перетаскивал их от двери к жерновам. Мышцы на его спине перекатывались под загорелой кожей с каждым движением. На плечах и груди белела мучная пыль, прилипшая к потной коже, и в свете солнечных лучей он казался высеченным из дерева и камня — грубый, мощный, настоящий.

Анна замерла в дверях, забыв, зачем пришла. Она смотрела на мужа и чувствовала, как внутри разливается тепло — то самое, давно забытое, что она испытывала в первые месяцы после свадьбы. Тогда она могла часами наблюдать за ним — как он работает, как хмурится, как вытирает пот со лба тыльной стороной ладони. Она любила его за эту силу. За эту молчаливую, надёжную мощь. За то, что рядом с ним она чувствовала себя защищённой — от всего мира, от всех бед.

Орвин опустил мешок и только тогда заметил её. Его суровое лицо, застывшее в рабочем напряжении, вдруг смягчилось — он улыбнулся одними уголками губ, и от этой скупой улыбки у Анны подкосились колени.

— Что такое? — спросил он, кивая на корзину. Голос его, низкий и чуть хрипловатый от пыли, разнёсся по мельнице.

— Тебе обед принесла, — ответила Анна, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Но щёки предательски заалели.

Орвин подошёл ближе. От него пахло мукой, потом и чем-то ещё — тем самым, мужским, от чего у Анны всегда перехватывало дыхание. Он взял у неё корзину, поставил на верстак и вдруг, наклонившись, поцеловал её в висок — коротко, почти невесомо.

— Спасибо, — сказал он. — Ты у меня такая заботливая, самая лучшая.

И вернулся к работе. А Анна ещё долго стояла, прижав ладонь к тому месту, где только что были его губы, и глупо, счастливо улыбалась. Чёрный кот, дремавший на мешке у жернова, приоткрыл один глаз, посмотрел на неё и снова зажмурился — он-то знал, что всё идёт как надо.

*****

Орвин в церковь ходил редко. По воскресеньям он надевал чистую рубаху, подпоясывался красным кушаком и шёл вместе с Анной на холм. Стоял службу, крестился, когда положено, но взгляд его блуждал по стенам, по окнам, по лицам прихожан. Он не пел вместе с хором. Не причащался. Отец Игнатий замечал это и молчал. Священник за эти три года сильно сдал. Его спина сгорбилась, седая борода стала жидкой, а голос — тихим и надтреснутым. Он служил, но силы уходили. Каждый раз, когда он поднимал чашу, руки его дрожали. Анна смотрела на него и чувствовала, как что-то внутри сжимается в тугой, горячий ком. Она знала: отец держится только ради неё. Ради того, чтобы увидеть внука.

Но внука не было.

Прошло три года. Три года — это тысяча девяносто пять дней. Анна помнила их все. Не каждый день по отдельности, а как одно сплошное полотно, сотканное из ожидания и разочарования. Каждое утро она просыпалась и прислушивалась к своему телу: не потяжелела ли грудь, не подкатывает ли тошнота, не кружится ли голова? Она знала все приметы ранней беременности, которые рассказывали деревенские бабы. Знала, что должно тянуть низ живота, что вкусы должны меняться, что хочется солёного или, наоборот, сладкого. Она проверяла себя каждое утро, как скупой проверяет монеты, и каждое утро находила только пустоту.

Месячные приходили точно в срок. Они были обильными и болезненными, как будто само её тело смеялось над ней. Каждый раз, заметив красное пятно на тряпице, Анна запиралась в спальне, падала на колени и плакала. Она плакала беззвучно, сжав зубы, чтобы не слышал муж. Слёзы текли по щекам, капали на сжатые в кулаки руки, и каждый раз ей казалось, что вместе с этими слезами из неё уходит что-то важное.

Надежда. Вера. Жизнь.

Она стала суеверной. Завязывала узелки на нитках, клала под подушку освящённую вербу, пила настои из боровой матки, которые давала Грета. Грета говорила: «Пей три раза в день перед едой». Анна пила. Настой был горьким, вязал рот, но она глотала его, морщась, и ждала. Ничего не менялось.

Анна стала завидовать. Завидовала бабам, которые ходили с большими животами, завидовала тем, кто кормил младенцев грудью, сидя на завалинке. Завидовала даже тем, у кого дети умирали во младенчестве, — у них хотя бы была память, была боль, было что-то, что можно оплакать. У неё не было ничего. Только пустота.

И эта пустота была горячей, как раскалённое железо.

Временами Анне казалось, что она сходит с ума. Что её тело — это не её тело, а пустой сосуд, из которого что-то вылили. Она ловила себя на том, что, проходя мимо колыбели, которую Орвин сколотил ещё в первый год брака, отводит глаза. Колыбель стояла в углу спальни, накрытая старой простынёй. Анна не прикасалась к ней уже два года. Но каждое утро смотрела на неё. И каждый раз что-то внутри обрывалось.

Орвин видел всё это. Видел, как она молча страдает. Видел, как она плачет по ночам, думая, что он спит. Видел, как она смотрит на его ладони, на его губы, на его глаза — ищет в нём что-то, чего не может найти. И он не знал, как ей помочь. Хуже того — он боялся, что причина в нём.

Воспоминания о той ночи перед свадьбой были смутными, но они никуда не делись. Они лежали на дне памяти, как ил на дне озера. Иногда, в полнолуние, они поднимались к поверхности. Мельник просыпался среди ночи от жажды — дикой, неутолимой, такой, что горло пересыхало в пыль. Пил воду кружку за кружкой, но она казалась ему тёплой и безвкусной. Ему хотелось другого — ледяной, сладковатой влаги. Он знал этот вкус. Он помнил его. Но не помнил, откуда.

Он ходил к озеру. Не каждую ночь, но часто. Выходил из дома, когда Анна засыпала, шёл через задний двор, поросший осокой, и останавливался у самой кромки чёрной воды. Озеро было гладким и неподвижным.

Луна отражалась в нём, и это отражение было таким чётким, что казалось — там, внизу, лежит другая луна, утонувшая много лет назад. Добрый молодец вглядывался в неё до рези в глазах. Ему чудилось, что из глубины поднимается свет — голубоватый, холодный. Что кто-то смотрит на него со дна. Кто-то, кого он знает. Кого он любит.

Но никто не появлялся. Озеро молчало.

И тогда он возвращался в дом, ложился рядом с женой и лежал без сна до рассвета. Сердце колотилось гулко и тяжело. Пальцы были холодными. Он слушал дыхание Анны — ровное, спокойное, — и ненавидел себя за то, что не может дать ей счастья. За то, что его тело, его кровь, его семя — всё это проклято чем-то, чего он не понимает.

Однажды вечером, в конце октября, Анна решилась на разговор.

Был пасмурный и ветреный день. С самого утра моросил дождь — мелкий, затяжной, он висел в воздухе водяной пылью и оседал на одежде, на волосах, на ресницах. Небо было низким и серым, как старая простыня. Деревья стояли почти голые — ветер сорвал последние листья, и они лежали на земле мокрым ковром. Запах прели и сырости проникал в дом сквозь все щели.

Орвин сидел у окна и смотрел на дождь. Он только что вернулся с мельницы — уставший, пропахший мукой и деревом. Его руки лежали на столе, большие и тёмные от въевшейся грязи. В свете свечи блестели мозоли. Мельник был красив в этом тусклом освещении — красив той тяжёлой, усталой красотой, которая свойственна людям, привыкшим к труду. Но в его глазах не было жизни. Они напоминали два камешка на дне ручья — гладкие, тёмные, холодные.

Анна подошла и села напротив. Свеча стояла между ними, и её пламя колыхалось от сквозняка. Тени метались по стенам. Она сложила руки на коленях, как делала всегда, когда волновалась.

— Орвин, — позвала она.

Он обернулся. Свет упал на его лицо, и Анна увидела, как сильно он изменился. Под глазами залегли тени. На лбу появилась складка, которой не было раньше. Щёки впали. Он выглядел старше своих двадцати шести лет.

— Я больше не могу, — сказала она. Голос был тихим, но ровным. Она не плакала. Слёзы кончились.

— Чего ты не можешь?

— Ждать. Три года. Я жду. Молюсь. Пью травы. И ничего.

Орвин отвёл взгляд. Стыд обжёг его изнутри, как кипяток.

— Может, нам нужно ещё время...

— Времени больше нет! — перебила она, и в её голосе зазвенел металл.

— Мой отец умирает. Ты видишь его? Он сгорбился, он еле ходит. Он держится только ради меня. Ради того, чтобы увидеть внука. А внука нет. И не будет. Потому что я пустая.

— Ты не пустая, — сказал он.

— Я бесплодная, — отрезала она.

В комнате стало тихо. Только дождь шуршал за окном.

— Я пойду к Грете, — сказала Анна после долгой паузы.

— К повитухе?

— Да.

— Зачем? Она же язычница. Твой отец...

— Мой отец молится три года. И ничего. Может, Бог занят. Может, он не слышит. А я больше не могу сидеть и ждать.

Орвин хотел возразить, но посмотрел на жену и осёкся. Она сидела перед ним прямая, напряжённая, и в её глазах горел такой огонь, какого он не видел раньше. Это был огонь отчаяния. Или решимости. Или и того, и другого сразу.

— Хорошо, — сказал он. — Сходи.

Она кивнула и вышла из комнаты. Он остался один.

Дождь стучал по крыше. Тени плясали на стенах. Мельник взял кружку, налил воды из кувшина, поднёс к губам и замер. Вода пахла мятой. Едва заметно. Но он учуял. Он поставил кружку на стол. Не выпил ни глотка.

*****

На следующий день Анна пошла к Грете.

Дом повитухи стоял на отшибе, у самого леса. Он был меньше мельничного — приземистый, вросший в землю, с почерневшими стенами и крышей, поросшей мхом. Окна были маленькие и всегда задёрнуты тёмными занавесками. Вокруг дома росли кусты бузины — высокие, густые, с голыми сейчас ветками. Летом они покрывались чёрными ягодами, но сейчас на ветках висели только капли дождя. Деревенские не ходили сюда без надобности. Грету уважали, но боялись. Слишком много она знала. Слишком долго жила.

Анна подошла к двери. Сердце колотилось так громко, что ей казалось — его слышно за версту. Она занесла руку, чтобы постучать, но дверь открылась сама — будто её ждали.

— Заходи, дочь Игнатия, — раздался голос из темноты.

Внутри было сумрачно и тепло. Пахло сушёными травами, дымом и чем-то сладковатым. Под потолком висели пучки зверобоя и ромашки, на столе горела масляная лампа, освещая глиняные горшки и коренья. Грета сидела на стуле с высокой спинкой, и её тень падала на стену, колеблясь в такт пламени.

Сама Грета была стара — так стара, что никто в деревне не помнил её молодой. Её спина сгорбилась, пальцы скрючились, но двигалась она быстро и уверенно. Лицо было покрыто сетью морщин, как потрескавшаяся земля в засуху. Глаза — маленькие, тёмные, цепкие — посмотрели на Анну и, кажется, увидели всё, что нужно.

— Садись, — сказала она, указывая на второй стул.

Анна села, сложив руки на коленях. Молчала.

— Зачем пришла? — спросила Грета, хотя, судя по её тону, она уже знала ответ.

— Я не могу забеременеть, — сказала Анна без предисловий. — Три года. Три долгих года. Я пила травы, молилась, ходила к святому источнику дважды. Ничего не помогло.

Грета взяла со стола горшочек и высыпала на ладонь горсть мелких косточек. Не то рыбьих, не то птичьих. Они зашуршали, падая друг на друга. Повитуха долго вглядывалась в них, шевеля губами, а потом ссыпала обратно.

— Есть один способ, — сказала она наконец. — Старый. Не всякому он по душе, но тебе, может, подойдёт.

— Какой? — Анна подалась вперёд.

— В полнолуние, когда луна стоит высоко, а вода в озере светится, ты должна пойти к озеру. Выйти на мостик. И попросить Владычицу вод о помощи. Если она услышит — даст тебе испить из своих ладоней. Тогда понесёшь.

Анна нахмурилась.

— Владычицу вод? О ком ты?

— О той, что живёт в озере, — спокойно ответила Грета. Она посмотрела на Анну долгим, внимательным взглядом и добавила: — Твой муж её знает. Но ты ему о ней не говори. Не спрашивай ни о чём. Придёт время — он сам всё тебе расскажет. А пока — просто иди. Просто попроси. Полнолуние через три дня.

Анна замерла. Орвин знает? Знал всё это время — и молчал? Она хотела задать ещё десяток вопросов, но лицо Греты было непроницаемым, и Анна поняла: больше она ничего не скажет.

— И чей это будет ребёнок?

— Твой, — сказала Грета. — Ты будешь ему матерью. А теперь ступай. И помни: что бы ты ни увидела там, на мостике, — не пугайся. Страх — плохой советчик.

Анна встала и вышла из дома, не чуя под собой ног. В голове роились мысли. Владычица вод. Та, что живёт в озере. Орвин её знает. Знал — и молчал. Она вспомнила, как муж по ночам уходит из дома, как стоит на берегу и смотрит в чёрную воду. Она знала об этом. Всегда знала. Просто не хотела признаваться себе. А теперь слова Греты подтвердили её догадки. Её муж ходит к другой. К той, что живёт в озере.

В тот вечер она ничего не сказала Орвину. Они сидели рядом за столом, ели похлёбку, молчали. Свеча горела между ними, и тени падали на их лица. Анна смотрела на мужа — на его руки, на его губы, на его глаза, — и думала: «Ты знаешь её. Ты ходишь к ней. Я знаю. Я всё знаю».

Но вслух она сказала другое. Она взяла его за руку. Ладонь была холодной.

— Ты меня любишь? — спросила она тихо.

— Люблю, — ответил он.

И это была правда. Он любил её — земную, тёплую, родную. Но внутри, под сердцем, у него лежала другая любовь. Головокружительная. Манящая. Вечная.

Анна не знала этого до конца. Но чувствовала: что-то между ними стоит. Что-то, чего она не понимает. И именно поэтому она решилась. Она пойдёт к озеру. Сделает то, что велела Грета. И будь что будет.

Полнолуние приближалось.

Глава 2. ВОДА ВО ЧРЕВЕ

Полнолуние наступило через три дня, как и обещала Грета. Луна взошла над холмами огромная, круглая, налитая холодным жёлтым светом, и зависла так низко, что, казалось, зацепится сейчас за голые ветви вязов и остановится. Но она поднималась — медленно, торжественно, — и её отражение дрожало в чёрной воде Старицы длинной серебряной дорожкой. Небо вызвездило так, как бывает только поздней осенью: звёзды стояли острые, колючие, и от их света воздух казался стеклянным. Мороз ещё не ударил, но земля уже промёрзла на палец, и трава хрустела под ногами.

Из низин поднимался туман — густой, белёсый, слоистый. Он наползал на берега, обнимал сваи мельницы, забирался под мостик и стоял там, не шевелясь, как живой. Деревня спала глубоко, по-ноябрьски. Ни огонька в окнах, ни собачьего лая. Только колесо скрипело в темноте — мерно, тяжело, с тем особым ритмом, к которому люди здесь привыкли настолько, что перестали замечать. Но Анна сегодня слышала этот скрип иначе. Он казался ей голосом. Не своим — чужим, женским, поющим где-то глубоко под водой.

Она вышла из дому, когда колокол на церкви пробил полночь. Дождалась, пока дыхание Орвина станет ровным и глубоким, пока рука его, лежавшая поверх одеяла, расслабится и пальцы разожмутся. Тогда она поднялась. Не зажигала свечи. Темнота была её союзницей: она скрывала и дрожащие руки, и мокрые от слёз щёки. Анна на ощупь достала из сундука платок — серый, шерстяной, с красными петухами по краю, — накинула на плечи, обулась в валенки и выскользнула за дверь.

Морозный воздух ударил в лицо, перехватил дыхание. Анна замерла на крыльце, прижимая ладонь к груди. Сердце колотилось часто, гулко, как пойманная птица. Ей было страшно. Не просто страшно — до ватной слабости в ногах, до холодного пота на затылке. Но страх смешался с другим чувством. С тем самым огнём, что тлел в ней три года и теперь разгорелся в полную силу. С отчаянием. С яростью. С желанием, которое она сама не могла назвать по имени.

Она сделала шаг. Потом другой. Мостик заскрипел под её ногами — знакомо, предсказуемо, и этот звук немного привёл её в чувство. Слева от неё вращалось колесо — чёрное, блестящее от водяной пыли. Брызги летели во все стороны, и в лунном свете они казались серебряной крупой. Справа чернела река. А впереди, за мостиком, угадывалось озеро — чёрное, гладкое, без единой морщины.

Анна дошла до середины мостика и остановилась. Здесь, у самых перил, вода была особенно тёмной и глубокой. Она вцепилась в мокрое дерево обеими руками и замерла.

— Владычица вод, — прошептала она. Голос сорвался. Она сглотнула и повторила громче: — Владычица вод! Я пришла.

Тишина. Только колесо скрипело.

— Я пришла просить тебя! — выкрикнула Анна, и голос её, сорвавшись, улетел в туман. — Если ты есть... если ты правда есть... покажись! Поговори со мной! Я не уйду, пока ты не выйдешь! Слышишь? Я буду стоять здесь до рассвета! Я буду стоять, пока...

Она не договорила.

Вода дрогнула. Не от ветра — ветра не было. Луна на поверхности озера пошла рябью, и рябь эта расходилась кругами, словно кто-то бросил камень. А потом из глубины начал подниматься свет.

Анна замерла с открытым ртом. Она видела всякое в своей жизни. Видела, как горит сухой торф на болоте, как светятся гнилушки в лесу, как вспыхивает зарница над холмами. Но этот свет был иным. Он был живым. Он пульсировал, дышал, и он поднимался. Медленно. Неотвратимо. Как утопленник со дна.

Сначала показались волосы — длинные, мокрые, они облепили плечи и шею, струились по спине. Потом голова. Потом плечи. Она поднималась без всплеска, без единого звука, как будто сама вода расступалась перед ней.

И когда она встала на поверхности озера в полный рост, Анна забыла, как дышать.

Мирель была прекрасна. Не красива — именно прекрасна, той жуткой, нечеловеческой красотой, от которой хочется отвести взгляд и невозможно. Её кожа светилась изнутри, как будто под ней горел холодный голубой огонь. Волосы, цвета водяной пены, струились до талии. Глаза — огромные, без зрачков — были как два окна в грозовое небо. Губы — бледно-розовые, спокойные. Тело — обнажённое, плавное, словно выточенное не из плоти, а из воды. Она стояла на поверхности, не проваливаясь, и вода держала её, как мать держит дитя.

Анна открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла. Все слова, которые она готовила, стоя у перил, исчезли. Остался только ужас и что-то ещё — что-то похожее на благоговение.

Мирель сделала шаг. Потом другой. Она шла к мостику по воде, и ступни её не проваливались. С каждым шагом холод, исходящий от неё, становился сильнее. Не ледяной, не обжигающий — свежий, как родниковая вода.

— Ты пришла, — сказала Мирель.

Голос её звучал странно. Он не был громким, но Анна слышала его повсюду: в голове, в груди, в кончиках пальцев, в костях. Он обволакивал, проникал, заполнял собой всё пространство.

— Да, — выдохнула Анна. — Я пришла.

— Зачем?

— Ты знаешь зачем.

Мирель остановилась у края мостика. Она стояла так близко, что Анна могла бы коснуться её, если бы протянула руку. Но она не протянула. Руки примерзли к перилам.

— Скажи это вслух, — потребовала Мирель.

— Я хочу ребёнка, — выговорила Анна. Голос дрожал. — Я замужем три года. Три года я не могу зачать. Повитуха сказала, что это из-за тебя. Из-за клятвы, которую дал мой муж.

— Верно.

— Так сними её! — Анна почти кричала. — Сними клятву! Верни мне моё чрево! Я имею право быть матерью! Я ни в чём не виновата перед тобой! Я не давала тебе никаких клятв!

Мирель смотрела на неё спокойно, и это спокойствие бесило Анну больше всего.

— Твой муж, — сказала Мирель, — стоял на этом самом месте три года назад. В ночь перед вашей свадьбой. Он был пьян. Он боялся. Он смотрел в воду и искал меня. И я вышла.

— Не хочу этого слышать, — прошептала Анна.

— А придётся.

— Нет! — Анна зажала уши ладонями. — Замолчи! Замолчи, тварь бесовская!

Но голос Мирель звучал всё равно — не в ушах, так прямо в голове.

— Он сказал мне слова, которые не говорят просто так. Он назвал меня по имени. Он сказал, что любит меня. И эти слова стали клятвой.

Анна покачнулась. Перила скрипнули под её тяжестью. Она медленно сползла по ним вниз — колени подогнулись, валенки заскользили по мокрым доскам. Она опустилась на корточки, потом на колени, и замерла так, глядя перед собой невидящими глазами.

— Этого не может быть, — прошептала она.

— Может.

— Он любит меня. Он женился на мне. Он... он не мог...

— Мог, — сказала Мирель. — И сделал. Я не заставляла его. Я не принуждала. Я предложила — он согласился. А признание в любви было его собственным.

Анна подняла голову. По её щекам текли слёзы — крупные, горячие.

— За что? — спросила она севшим голосом. — За что ты так со мной? Что я тебе сделала? Я даже не знала тебя! Я просто хотела быть женой! Я просто хотела быть матерью!

— Ты ничего мне не сделала. Но твой муж дал клятву, и клятва эта должна быть исполнена.

— Так забери его! — выкрикнула Анна. — Забери эту чёртову клятву! Развяжи её! Я пришла просить тебя. Я заплачу, чем скажешь!

Голова закружилась. В глазах потемнело. Она качнулась вперёд и упала бы лицом в воду, если бы не успела выставить руки. Ладони ударились о мокрые доски. Тело стало ватным, непослушным. Она попыталась подняться — и не смогла. Мир поплыл перед глазами. Последнее, что она увидела, — белые ступни Мирель, стоящие на воде у самого края мостика.

А потом темнота.

Она не знала, сколько прошло времени. Может быть, минута. Может быть, час.

Когда Анна открыла глаза, она всё так же лежала на досках мостика. Голова гудела. Во рту стоял странный вкус — сладковатый, незнакомый. Холод разливался внизу живота, собирался там, пульсировал, как вторая сердцевина.

Мирель сидела рядом с ней на корточках. Её прохладная ладонь лежала на лбу Анны, и это прикосновение было странно успокаивающим.

— Тише, — сказала Мирель негромко. И её голос снова был не просто голосом. Он был музыкой. Он был колыбельной без слов. Он проникал в сознание Анны, как вода проникает в сухую землю, — мягко, неотвратимо, заполняя собой все трещины.

— Что... что случилось? — Анна попыталась приподняться, но Мирель мягко удержала её за плечо.

— Ничего страшного. Ты упала. Потеряла сознание. Я успела подхватить тебя.

— Я помню... мы говорили... о чём-то важном...

— Нет, — сказала Мирель, и в её голосе зазвенели те самые чарующие ноты, которые Анна не могла распознать, но которые действовали на неё безотказно. — Тебе показалось. Ты устала. Три года ты не спала, не надеялась, не жила. Твоё тело истощено. Твой разум играет с тобой злые шутки. Ничего из того, что тебе привиделось, не было на самом деле. Ничего.

— Ничего... — повторила Анна как эхо, и её глаза затуманились.

— Ты пришла просить о ребёнке, — продолжала Мирель тем же чарующим голосом, и каждое её слово ложилось в память Анны, как камень на дно — ровно, точно на нужное место. — Я услышала тебя. Я дала тебе испить воды из моих ладоней. Ты выпила. И ты понесла. Всё остальное — дурной сон. Ночной кошмар. Не более.

— Кошмар... — Анна нахмурилась. — Мне приснилось... ты сказала... что-то об Орвине...

— Приснилось, — мягко перебила Мирель. — Полнолуние часто навевает видения. Но ты не должна придавать им значения. Твоё будущее — не в прошлом. Твоё будущее — здесь.

Она положила ладонь на живот Анны, и от этого прикосновения внутри что-то отозвалось — слабо, едва уловимо, как эхо далёкого колокола.

— Ты станешь матерью, — сказала Мирель. — Через месяц узнаешь. А теперь иди домой. Забудь всё, что тебе привиделось. Этого не было.

— Не было, — повторила Анна послушно, и её собственный голос прозвучал незнакомо — глухо, безжизненно, как у куклы.

Мирель помогла ей подняться. Анна стояла на ногах нетвёрдо, но сама. Платок сполз с плеча, и Мирель поправила его — заботливо, почти по-матерински.

— Иди, — сказала она. — И не оглядывайся.

Анна пошла. Медленно, держась за перила. Она не оглянулась. Не из страха — просто не было сил.

Когда она вошла в дом и закрыла за собой дверь, Мирель всё ещё стояла у мостика. Она смотрела на окно, за которым только что скрылся силуэт женщины, и лицо её было спокойным. Но в глубине глаз, там, где плясали голубые искры, скользнуло что-то похожее на печаль.

Она знала, что сделала. Анна выпила воду. Ребёнок будет. Первенец достанется стихии.

Но хотя бы сегодня этой женщине не нужно знать о цене. Пусть поспит спокойно.

*****

Утром Анна проснулась с лёгкой головной болью. Ей казалось, что она что-то забыла. Что-то важное. Но память не возвращала ничего, кроме обрывков: луна, туман, скрип колеса... и голос. Мягкий женский голос, который что-то говорил ей — но что? Она не могла вспомнить.

— Тебе, наверное, приснилось, — сказал Орвин за завтраком.

— Наверное, — согласилась Анна.

Прошло несколько дней. Анна ничего не помнила о той ночи — только смутные обрывки: луна, туман, женский голос. Она гнала от себя эти мысли и занималась домом, стараясь не думать о странном холоде, который временами охватывал живот.

В один из таких дней — знойный, душный, из тех июльских, когда воздух дрожит над землёй, а небо выцветает до белизны — Анна решила сходить за полынью. Грета давно говорила, что горьким дымом надобно окуривать комнаты: он выгоняет всё дурное. И Анна, недолго думая, собралась в путь.

Она взяла корзину, обулась полегче — и вышла за порог. Платок, что лежал на лавке у двери, она даже не заметила. Так и пошла с непокрытой головой, подставляя макушку палящим лучам.

Тропа вела через огороды, где уже начинали желтеть тыквы, через выгон, где лениво щипали траву козы, через ржаное поле, что колыхалось под ветром золотыми волнами.

Полынь, о которой говорила Грета, росла на опушке, у самого дома повитухи, — густая, серебристая, с горьким дурманящим запахом.

Анна шла по меже, придерживая подол, и думала о своём — всё о том же: о пустом чреве, о трёх годах бесплодных молитв, о муже, который в последнее время глядел на неё как-то виновато, и о том, как надоела эта бесконечная сырость в доме.

На краю поля, где колосья расступались, открывая вид на опушку, Анна заметила девушку. Та стояла босиком прямо во ржи, и её белое платье, расшитое алыми маками, слепило глаза ярче солнца. Волосы незнакомки — густые, цвета спелой пшеницы — были распущены и струились по плечам. Она улыбалась — широко, приветливо, — и что-то в её лице показалось Анне неправильным. То ли глаза были слишком яркими, точно у кошки, то ли улыбка — слишком долгой, то ли зубы — слишком белыми и ровными для деревенской девки.

— Куда идёшь, красавица? — спросила незнакомка певучим голосом. Он звучал, как журчание ручья, как стрекот кузнечиков, как летний зной — мягко, обволакивающе.

— За полынью, — ответила Анна, замедляя шаг. — К опушке, где дом повитухи.

— За полынью? — девушка рассмеялась, и смех её был похож на перезвон колокольчиков. — Полынь — трава горькая. Ею мёртвых обкуривают. А ты, я гляжу, не мёртвая. Ты живая. Только глаза у тебя — как у покойницы. Всё плачешь? Ночами в подушку слёзы льёшь?

Анна замерла. Откуда эта девка могла знать про её ночные слёзы? Про то, как она, уткнувшись лицом в подушку, беззвучно рыдает, пока муж спит?

— Что ты несёшь? — голос её дрогнул.

— Мамкой хочешь стать, — продолжала незнакомка, склонив голову набок. — Вижу. Очень хочешь. Да только не выходит. Три года стараешься, а всё пусто. Всё кровь да слёзы. Правильно я говорю?

Анна отступила на шаг. Кровь бросилась в лицо — от стыда, от обиды, от того, что чужая девка, которую она впервые видит, говорит ей в глаза такое, о чём сама Анна и мужу-то не смела рассказать.

А незнакомка, заметив её смятение, улыбнулась ещё шире и добавила — тихо, почти ласково, но с какой-то странной, нехорошей усмешкой:

— Кончатся скоро твои мучения. Или только начнутся. Это уж как повезёт.

И вот тут Анну прорвало.

— Да как ты смеешь?! — выкрикнула она, сжимая кулаки. — Кто ты такая, чтобы...

Она не договорила. Солнце ударило в голову — без платка, без защиты, макушка горела огнём. Перед глазами всё поплыло. Белое платье незнакомки вспыхнуло ослепительным светом, и Анна, не успев даже вскрикнуть, провалилась в темноту.

Очнулась Анна от холода. Кто-то лил воду ей на лицо, и вода стекала по щекам, по шее, за ворот рубахи. Она открыла глаза и увидела над собой скрюченные пальцы и тёмные глаза Греты. Повитуха сидела рядом на корточках и хмурилась.

— Очнулась, — констатировала Грета без всякой радости. — Лежи пока.

Анна попыталась приподняться, но голова закружилась, и она снова упала на спину — прямо в рожь, примяв колосья. Грета тем временем смочила тряпку в ледяной воде из ведра, отжала и приложила к её лбу. Вторую тряпицу сунула за ворот рубахи. Анна застонала — холод обжёг разгорячённую кожу.

— Дура ты, — сказала Грета спокойно, беззлобно, как говорят очевидное. — Кто ж в знойный полдень за травами ходит? Ты бы хоть вечера дождалась. Или в другой день пришла, когда солнце не такое злое. К чему такая спешка? Да ещё и платок на голову не повязала. Солнце-то в июле — оно не милует.

Анна молчала. Возразить было нечего. Она действительно пошла в самое пекло, не подумав. Действительно забыла платок. Действительно свалилась, как подкошенная.

— Я... я девушку видела, — прошептала она, облизывая пересохшие губы. — В поле. В белом платье. С алыми маками. Она говорила со мной. Обидное говорила...

— Что говорила? — Грета насторожилась.

— Сказала, что я мамкой хочу стать. Что три года стараюсь, а всё пусто. Что ночами в подушку плачу. — Анна сглотнула. — А потом добавила: «Кончатся скоро твои мучения. Или только начнутся». Откуда она знает, Грета? Я же никому не рассказывала. Даже Орвину.

Повитуха долго молчала, глядя куда-то поверх ржаного поля. Потом вздохнула и покачала головой.

— Полудницу ты повстречала, вот что. Счастье твоё, что легко отделалась — солнечным ударом. Могла бы и не очнуться. Полудницы — они добрых людей не трогают, но вопросы задают. А иногда и правду говорят. Такую правду, которую ты сама о себе не знаешь.

— Какую правду? — Анна нахмурилась.

— А вот это мы сейчас и проверим, — Грета подхватила её под руку и помогла встать. — Пойдём-ка ко мне в дом. Там разберёмся.

В доме у Греты было сумрачно и прохладно. Пахло травами, дымом и чем-то сладковатым. Повитуха усадила Анну на лавку, налила ей кружку холодной воды, а сама села напротив и взяла со стола глиняный горшочек.

— Сейчас проверим, — сказала она, высыпая на ладонь горсть мелких косточек — не то рыбьих, не то птичьих. — Старый способ. Ему ещё моя бабка меня учила. А её — её бабка. Ложись-ка.

Анна легла на лавку, и Грета осторожно ощупала её живот. Пальцы у повитухи были сухими, горячими и удивительно чуткими. Она давила то тут, то там, прислушиваясь к чему-то, чего Анна сама в себе не слышала. Потом взяла косточки, потрясла их в горсти и бросила на стол. Косточки рассыпались по столешнице, и Грета долго вглядывалась в их узор.

— Ну что? — спросила Анна нетерпеливо. — Что ты там видишь?

— А вижу я, — медленно проговорила Грета, — что дитя на подходе. Недели три как. Но...

Она запнулась и замолчала, разглядывая косточки на столе.

— Но что? — Анна приподнялась на локте. — Что ты замолчала?

— Что-то тут не чистое, — пробормотала Грета, скорее себе самой, чем Анне. — Не пойму пока что. Но дитя есть. Это точно.

— Какое «не чистое»? — Анна села на лавке и уставилась на повитуху. — О чём ты?

Грета махнула рукой, сгребла косточки обратно в горшочек и спрятала его на полку.

— О своём, о старушечьем. Не бери в голову. Главное — понесла. А остальное — потом разберёмся. Ты давай радуйся, а я пока посмотрю, что к чему.

Анна хотела расспросить подробнее, но Грета уже отвернулась к печи и стала возиться с горшками, всем своим видом показывая, что разговор окончен. И Анна не стала настаивать. Она слишком устала — сначала солнечный удар, потом эта новость. Голова гудела, в животе разливался странный холодок, и единственное, что имело сейчас значение, — это крошечная жизнь, которая, оказывается, уже три недели росла у неё под сердцем. Остальное не имело значения. Остальное она обдумает потом.

Она прижала ладонь к животу и улыбнулась — впервые за долгое время.

— Дитя, — прошептала она. — У меня будет дитя.

Грета, стоя к ней спиной, ничего не ответила. Только плечи её чуть дрогнули — то ли от вздоха, то ли от чего-то ещё. Но Анна этого не заметила. Она была слишком счастлива, чтобы замечать такие мелочи.

Глава 3. ЧУЖОЙ ВЗГЛЯД

Вести о беременности Анны разнеслись по деревне быстро — быстрее, чем обычно расходятся такие вести. Может быть, дело было в том, что три года бесплодия мельничихи обсуждались за каждой изгородью, и теперь, когда заклятие наконец было снято, каждому хотелось первым рассказать соседу. А может быть, просто ноябрь в Глубоком Логу был настолько глух и однообразен, что любое событие становилось поводом для разговоров на несколько недель вперёд.

Как бы то ни было, к середине декабря о беременности Анны знали уже все — от старого бондаря Тихона, который жил на отшибе и редко выходил из дому, до мальчишек, которые каждое утро гоняли гусей на замёрзший пруд. Знали — и перешёптывались за спиной. Шептались о том, что живот у мельничихи какой-то странный: растёт слишком быстро, но почти не выдаётся вперёд. Шептались о том, что сама Анна изменилась — стала бледнее, тише, словно её придавило чем-то изнутри. Шептались и о её муже: мельник Орвин, и без того неразговорчивый, теперь вовсе перестал появляться в деревне, а если и приходил — то смотрел сквозь людей, будто не видел их.

Но громче всех, как водится, шепталась старая Марена — деревенская вдова, которая лечила всех настойками на самом самом самогоне и знала, казалось, всё обо всех. Именно она первой сказала отцу Игнатию о том, что его дочери нужен настоящий врач, а не повитуха-язычница.

— Священник ты или нет? — говорила Марена, стоя на крыльце его дома и кутаясь в драный овчинный тулуп. — У дочки твоей ребёнок под сердцем, а ты кого к ней приставил? Костяную Бабку, прости господи. Она же чертей гоняет и заговорами лечит. А вдруг что не так пойдёт? Кто отвечать будет?

Отец Игнатий слушал молча. Он и сам думал об этом. Грету он знал много лет и уважал, но вера его не позволяла полностью доверять языческим обрядам. А уж теперь, когда речь шла о жизни его дочери и будущего внука, сомнения терзали его всё сильнее.

Поэтому в начале декабря он отправил письмо в губернский город. Письмо было коротким и смиренным: «Отцу Игнатию, священнику церкви Покрова в деревне Глубокий Лог, нужен учёный врач для наблюдения за беременностью дочери. Прошу направить к нам доктора, какого сочтёте достойным. Господь вознаградит вас за милосердие».

Ответ пришёл через три недели. И вместе с ответом — в конце декабря, по первому снегу — в деревню приехал доктор Густав Адлер.

*****

В ночь перед приездом доктора Анне снился сон.

Она стояла на берегу озера. Вода была чёрной и гладкой, как зеркало. Луна висела низко, и её отражение дрожало на поверхности. Анна сделала шаг к воде — и вдруг поняла, что не может остановиться. Ноги сами несли её в озеро, хотя она кричала, сопротивлялась, пытаясь ухватиться за траву. Вода сомкнулась над её головой, и она пошла ко дну.

Там, в глубине, было светло. Голубоватое сияние исходило откуда-то снизу, и в нём Анна увидела фигуру. Женскую. Белую. Мирель стояла на дне озера, протягивая к ней руки, и улыбалась. Её губы шевелились, но Анна не слышала слов — только мелодию, похожую на колыбельную.

Анна проснулась в холодном поту. Сердце колотилось. Она прижала ладонь к животу — и почувствовала странный холод. Словно ребёнок внутри неё был сделан изо льда.

На подушке Анны лежал маленький речной камешек. Гладкий, круглый, зеленоватый. Он был мокрым. Анна сжала его в ладони и заплакала от страха и тревоги.

*****

Сани остановились у церкви в сумерках. Снег валил густо — крупные, тяжёлые хлопья, которые залепляли лицо и одежду в считанные минуты. Из саней выбрался высокий, сухощавый мужчина лет тридцати двух, в тёмном пальто городского покроя и очках в тонкой металлической оправе. Он был гладко выбрит, что в здешних краях считалось признаком либо чужака, либо священника. От него пахло карболкой, табаком и чем-то ещё — неуловимым, чуждым, принадлежащим другому миру.

— Доктор Адлер, — представился он отцу Игнатию, выходя на крыльцо. — Густав Адлер, выпускник медицинского университета, учёный, хирург и акушер. Вы мне писали.

Отец Игнатий поклонился низко, с достоинством.

— Благодарю, что откликнулись, господин доктор. Моя дочь... она ждёт ребёнка уже четвёртый месяц. Я хочу, чтобы за ней присматривал настоящий врач.

— Осмотрю, — коротко ответил Густав. — Где она живёт?

— На мельнице, у реки. Я провожу вас.

Они спустились с холма по узкой, занесённой снегом тропе. Снег скрипел под сапогами. Деревня лежала тихая, придавленная зимним небом. Из труб поднимались дымы, и в воздухе стоял запах горящих дров. Густав шёл и смотрел по сторонам — цепко, привычно, как человек, который умеет замечать то, чего другие не видят. Он отметил про себя и необычное положение мельницы — прямо у реки, с колесом, опущенным в тёмную воду, — и дом, примыкающий к мельнице с южной стороны, и озеро, что начиналось сразу за домом, чёрное и гладкое, не замёрзшее, несмотря на мороз.

— У вас там озеро не замерзает? — спросил он, кивнув в сторону чёрной воды.

Отец Игнатий перекрестился.

— Не знаю, о чём вы, господин доктор, — сказал он сухо. — Вода как вода.

Густав не стал настаивать. Но в его дневнике в тот же вечер появилась запись: «Деревня Глубокий Лог. Интересное место. Озеро у мельницы, судя по всему, обладает необычной люминесценцией. Взять пробы воды при первой возможности».

*****

Анну он осмотрел в тот же вечер.

Она сидела на лавке в большой комнате, закутанная в шаль, и смотрела на доктора с недоверием и смущением. Густав сразу отметил про себя её бледность. Не просто бледность

— а какую-то внутреннюю прозрачность. Словно её кожа стала тоньше, и сквозь неё можно было разглядеть движение крови.

— Давно вы беременны? — спросил он, доставая из саквояжа стетоскоп.

— Третий месяц, — ответила Анна тихо. — Так сказала повитуха Грета.

— Грета — это местная акушерка?

— Да. Она принимает роды у всех в деревне.

Густав кивнул и приложил стетоскоп к её животу. Анна вздрогнула — металл был холодным. Он слушал долго, нахмурившись. Потом убрал инструмент и сел напротив.

— Сердцебиение плода есть, — сказал он. — Но оно медленное. Очень медленное. Обычно у младенцев на таком сроке сердце бьётся гораздо чаще. У вас — около восьмидесяти ударов в минуту. Это... необычно.

— Это плохо? — спросила Анна, и в её голосе дрогнул страх.

— Я не знаю, — честно ответил Густав. — Возможно, это особенность вашего организма. Возможно — патология. Нужно наблюдать.

Он снова приложил стетоскоп, на этот раз ниже, и замер. Прошло полминуты. Анна затаила дыхание. Густав молчал, и его лицо, обычно спокойное, сейчас выражало напряжённое внимание. Наконец он выпрямился.

— Странно, — сказал он негромко.

— Что?

— Звук. Не просто сердцебиение. Что-то ещё. Как будто... — он замолчал, подбирая слово. — Как будто вода течёт.

Анна побледнела ещё сильнее.

— Вода? Какая вода?

— Не знаю. Возможно, это шум околоплодных вод. Но он слишком...
музыкальный, что ли. Простите, это не научный термин. Я просто пытаюсь описать то, что слышу.

Он убрал стетоскоп в саквояж и посмотрел на Анну. Она сидела перед ним прямая, напряжённая, и в её глазах стоял тот особый страх, который Густав видел много раз у беременных женщин, — страх за ребёнка.

— Не волнуйтесь, — сказал он мягче, чем обычно. — Я останусь здесь на некоторое время. Буду наблюдать за вами. Наука знает гораздо меньше, чем ей хотелось бы, но кое-что она всё же может.

— Спасибо, — прошептала Анна.

*****

После осмотра Густав вышел из дома и решил пройтись вдоль озера, чтобы немного проветрить голову перед сном. Снег перестал, и небо очистилось. Луна стояла высоко, и её свет лежал на чёрной воде длинной серебряной дорожкой. Густав шёл по берегу, погружённый в свои мысли, как вдруг услышал плеск.

Он замедлил шаг и выглянул из-за старой ели, что росла у самой воды.

В прорубе озера купался Орвин.

Вода доходила ему до пояса, и мокрые русые волосы прилипли ко лбу. Он стоял спиной к берегу, и Густав невольно отметил про себя его сложение — широкие плечи, мускулистая спина, сильные руки. Вода стекала по загорелой коже, и в лунном свете Орвин казался не мельником, а каким-то древним божеством — грубым, земным, пугающим в своей животной притягательности.

Густав никогда не задумывался о собственной внешности. Он был высок, сухощав, носил очки и всегда выглядел чуть старше своих лет — работа в лечебницах и бессонные ночи над книгами наложили отпечаток. Но сейчас, глядя на этого полуобнажённого мужчину, он впервые почувствовал укол зависти — острый, неожиданный, почти болезненный.

Вот кого любит Анна. Вот с кем она спит каждую ночь. Вот кто подарил ей дочь — пусть ещё не рождённую, но уже растущую под сердцем.

Орвин, не подозревая, что за ним наблюдают, нырнул с головой и через несколько мгновений вынырнул уже ближе к берегу. Он тряхнул головой, разбрызгивая воду, и Густав увидел его лицо — грубое, с тяжёлым подбородком, но странно притягательное. В нём не было утончённости, не было интеллекта — была только сила. И эта сила притягивала.

Густав отступил в тень и пошёл к дому другой дорогой. Ему не хотелось, чтобы Орвин заметил его. Не хотелось объяснять, почему он стоял и смотрел. А главное — не хотелось признаваться самому себе в том, что он только что почувствовал.

Зависть. Ревность. И горькое понимание: такую любовь, как у этого грубого мельника, ему не завоевать никогда.

*****

С этого дня Густав поселился в Глубоком Логу. Ему выделили комнату в доме отца Игнатия — маленькую, с узким окном и железной кроватью. По утрам он осматривал Анну, днём бродил по деревне, знакомился с жителями, вечером записывал наблюдения в дневник.

Жители Глубокого Лога отнеслись к нему с любопытством, смешанным с недоверием. Городской доктор в этих краях был редкостью — последний приезжал лет двадцать назад, да и тот оказался шарлатаном. Густав не был шарлатаном. Он был серьёзен, немногословен и не

обещал невозможного. Если он чего-то не знал, он так и говорил: «Я не знаю». И это, как ни странно, вызывало больше уважения, чем пустые заверения.

В первый же месяц он подружился с Гретой — вернее, не подружился, а установил с ней рабочий контакт. Повитуха поначалу отнеслась к нему настороженно, но, увидев, что доктор не смеётся над травами и не называет её ведьмой, смягчилась.

— Ты учёный, — сказала она ему однажды, когда они вместе осматривали Анну. — А я простая бабка. Но и ты, и я знаем одно: с этой беременностью что-то не так. Верно?

— Верно, — ответил Густав. — Только я не могу понять, что именно. И ты, кажется, знаешь больше, чем говоришь.

Грета поджала губы.

— Может, и знаю. Но не всё можно рассказать учёному человеку. Ты должен увидеть сам.

Густав записал в дневник: «Повитуха Грета явно что-то скрывает. Её знания о местных условиях гораздо глубже, чем она демонстрирует. При первой возможности расспросить подробнее».

*****

Постепенно его отношение к Анне начало меняться.

Это случилось не вдруг. Не было никакого ослепительного мига, никакой вспышки.

Просто однажды он поймал себя на том, что ждёт утреннего осмотра больше, чем нужно. Что ему приятно видеть её лицо — бледное, усталое, но светящееся изнутри. Что её голос, тихий и мягкий, звучит в его памяти, когда он остаётся один.

Он знал, что это неправильно. Она была замужем. Она ждала ребёнка. Её муж, пусть и молчаливый, пусть и странный, был жив и жил с ней под одной крышей. Густав не имел права даже думать о ней в этом ключе.

Но он думал.

Однажды вечером, сидя в своей комнате при свече, он достал лист бумаги и написал:

«Госпожа Анна. Вы не знаете меня, вернее, знаете только как врача. Но я, наблюдая за Вами все эти недели, не могу молчать. Ваше лицо, Ваша сила, Ваша тихая печаль — всё это трогает меня глубже, чем я ожидал. Простите мне эту дерзость. Я ничего не прошу. Только позвольте мне писать Вам время от времени. Это всё, на что я смею надеяться. Ваш безымянный друг».

Он перечитал написанное, хотел разорвать, но не стал. Вместо этого сложил лист вчетверо, запечатал сургучом без печати — просто каплей воска — и на следующее утро, проходя мимо мельницы, незаметно положил на крыльцо, придавив гладким речным камнем.

Анна нашла письмо, когда шла за водой. Сначала подумала, что это какая-то записка от мужа. Но Орвин не умел писать. Она развернула лист, прочитала и замерзла.

Сердце колотилось. Она перечитала письмо трижды. Почерк был незнакомым — твёрдым, с лёгким наклоном влево. Слова были вежливыми, но в них чувствовалось что-то большее. Что-то, от чего у неё потеплели щёки.

Она никому ничего не сказала. Спрятала письмо в сундук, подальше от мужних глаз. Но в тот вечер, ложась спать, она думала не об Орвине — а о человеке, который написал ей эти строки. И догадывалась, кто он.

*****

Орвин заметил перемену.

Это было трудно объяснить словами. Анна ничего не говорила, ничего не делала. Но он чувствовал: что-то изменилось. Она стала чуть более оживлённой, чуть менее замкнутой. Иногда, когда она думала, что он не смотрит, на её губах появлялась лёгкая улыбка.

Он спросил её об этом прямо — однажды вечером, за ужином.

— Ты сегодня другая, — сказал он. — Что случилось?

— Ничего, — ответила она слишком быстро.

— Ты улыбалась. Давно я не видел, чтобы ты улыбалась просто так.

— Просто хорошее настроение. Доктор сказал, что ребёнок здоров.

— Доктор, — повторил Орвин, и в его тоне мелькнуло что-то острое. — Ты много времени проводишь с доктором.

— Он осматривает меня. Это его работа.

— Работа, — Орвин отложил ложку. — А ты не думаешь, что он слишком часто на тебя смотрит? Слишком долго слушает твой живот? Слишком заботливо спрашивает о твоём самочувствии?

Анна вспыхнула.

— Ты на что намекаешь?

— Ни на что. Просто говорю то, что вижу.

— Ты видишь то, чего нет! — её голос зазвенел. — Доктор — учёный человек, он помогает нам, а ты выдумываешь невесть что! Может, тебе лучше о своей жене заботиться, чем к озеру по ночам ходить?

Орвин замолчал. Удар попал в цель. Он действительно ходил к озеру — и она знала об этом. Он отвёл глаза.

— Я не хожу к озеру, — солгал он.

— Ходишь, — сказала Анна тихо. — Я слышу, как ты встаёшь. Я слышу, как ты открываешь дверь. Я слышу, как ты шепчешь её имя. Я всё слышу, Орвин.

Он поднял голову. Их взгляды встретились. И в этот миг между ними пролегла такая пропасть, какой не было никогда раньше — даже в самые трудные месяцы её бесплодия. Потому что теперь у каждого была своя тайна. У него — Мирель. У неё — письма от Густава.

— Я иду спать, — сказала Анна и встала из-за стола.

Орвин не остановил жену.

*****

В тот вечер Густав записал в дневнике: «Сегодня заметил необычное свечение озера. Оно появляется только ночью, в полнолуние и несколько дней после. Вода светится изнутри — вероятно, фосфоресцирующие микроорганизмы. Но почему только в этом месте? И почему свечение усиливается, когда к воде подходит беременная Анна? Это требует дальнейшего изучения».

Он закрыл дневник, потушил свечу и лёг спать. Но сон не шёл. Перед глазами стояло лицо Анны — такой, какой он видел её сегодня: раскрасневшейся, оживлённой, с искорками в глазах. Она была прекрасна в этой хрупкой беременной красоте. И он не мог перестать думать о ней.

Глава 4. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ИЗ ВОДЫ

К концу января Анна была на шестом месяце. Живот её уже невозможно было скрыть под свободной шалью, но она и не пыталась. Она носила его с тем особым, отстранённым достоинством, какое бывает у женщин, которые знают: с ними происходит что-то большее, чем просто вынашивание дитя. Что-то, что нельзя объяснить словами, что можно только прожить — день за днём, час за часом.

Снега в тот год выпало много. Он лежал повсюду — на крышах, на ветках, на замёрзшей Старице. Только озеро за домом оставалось чёрным и жидким, и пар над ним поднимался гуще обычного. В лунные ночи пар светился — и теперь это замечали не только Анна и Густав, но и другие жители деревни. Старая Марена клялась, что видела в светящемся тумане женскую фигуру, и отец Игнатий после этого отслужил молебен у озера, но легче не стало. Вода всё так же светилась, Анна всё так же бледнела, а ребёнок в её чреве всё так же рос — быстро, но как-то неправильно.

Густав записывал каждое наблюдение. Его дневник разбух от заметок: «Сердцебиение плода — 72 удара в минуту»; «Температура тела пациентки — 34,8 градуса»; «При аускультации — посторонний шум, напоминающий ток воды»; «Пациентка утверждает, что слышит во сне женский голос, поющий колыбельную». Он перечитывал эти записи по вечерам, сидя в

своей комнате под крышей, и с каждым днём всё яснее понимал: наука здесь бессильна. Он мог измерить температуру, записать ритм сердца, взять пробы — но он не мог объяснить, почему вода в озере светится, почему ребёнок не замерзает в ледяном чреве и почему его пациентка с каждым днём становится всё больше похожа не на живую женщину, а на тень, вытянутую из мира людей в какую-то иную, запредельную реальность.

Анна и сама это чувствовала. Она уже не пугалась ночных снов — она ждала их. Каждую ночь, ложась в постель рядом с молчаливым мужем, она закрывала глаза и прислушивалась. И голос приходил. Женский, мягкий, глубокий. Он звучал не снаружи — внутри. В голове, в груди, в животе. Он пел колыбельную без слов — одну и ту же, ночь за ночью, — и от этой мелодии Анне становилось спокойно. Страх уходил. Оставалось только тепло. И холод. Странное сочетание, которое она уже не могла разделить.

Но однажды ночью Анне приснилось, что она рожает. Роды были лёгкими, почти без боли. Грета принимала ребёнка, и Анна слышала его крик — громкий, здоровый, земной.

— Дайте мне его, — прошептала она. — Дайте мне мое дитя.

Грета протянула ей ребёнка. Анна взяла его на руки, откинула пелёнку — и закричала. У младенца было тело рыбы — скользкое, чешуйчатое, с плавниками вместо рук. Но лицо... лицо было человеческим. И оно смотрело на неё глазами Мирель — огромными, без зрачков, прозрачными, как вода в озере.

— Ты хотела ребёнка, — сказал младенец голосом Мирель. — Ты его получила.

Анна проснулась с криком. Орвин вскочил, мягко обхватил её за плечи.

— Что случилось?

— Ничего, — прошептала она, вытирая пот со лба. — Просто сон. Просто дурной сон.

Но когда она легла обратно и закрыла глаза, перед ней всё ещё стояло лицо младенца — человеческое и рыбье одновременно. И она знала: этот сон был предзнаменованием.

*****

Второе письмо пришло в начале февраля.

Анна нашла его на том же месте — на крыльце, под камешком. На этот раз конверт был запечатан воском, и на воске не было печати — только след пальца. Она развернула лист и прочитала:

«Госпожа Анна. Прошло две недели с моего первого письма. Вы ничего не ответили, и я не ждал ответа. Я вообще ничего не жду. Но не могу молчать. Я думаю о Вас чаще, чем позволено врачу, и в моих мыслях нет ничего профессионального. Ваше лицо, Ваш голос, Ваше мужество — всё это преследует меня. Вы — как свеча, которая горит в зимней темноте. Я не смею приблизиться, но я вижу этот свет. И он согревает меня. Простите. Я знаю, что не должен этого говорить. Но я сказал.».

Анна прочитала письмо дважды. Трижды. Потом поднесла листок к лицу и вдохнула запах — бумага пахла табаком и карболкой. Теперь сомнений не оставалось: это доктор.

Жена спрятала письмо в сундук, туда же, где лежало первое. И долго стояла у окна, глядя на заметённую снегом тропу к мельнице. Что ей делать? Ответить? Промолчать? Признаться мужу? Ничего не говорить?

Она не знала. Но одно знала точно: ей нужны эти письма. Они были единственным, что связывало её с миром живых. Всё остальное — муж, дом, деревня, даже собственный ребёнок — всё это уплывало куда-то в туман, в холод, в воду. А письма оставались. Сухие, тёплые, пахнущие табаком. Настоящие.

*****

Орвин заметил письмо.

Он случайно открыл сундук, когда искал чистую рубаху. Анна забыла запереть его — такого с ней никогда не случалось раньше. Сундук был набит старыми платками, шерстяными носками и прочим женским скарбом, но в углу, под сложенной скатертью, лежали два белых конверта. Орвин взял их, повертел в руках. Читать он не умел, но запах табака — запах доктора — узнал сразу.

Муж стоял над открытым сундуком, сжимая письма в кулаке, и чувствовал, как внутри закипает ярость. Не просто ревность — а что-то более тёмное. Что-то, что граничило с отчаянием. Он знал, что виноват перед женой. Знал, что дал клятву другой. Знал, что их ребёнок — не совсем их. Но это было другое. Там была магия, неизбежность, рок. А здесь — живой человек, который исподтишка, тайком, за его спиной, писал его жене любовные письма.

Орвин положил конверты обратно, закрыл сундук и ничего не сказал Анне. Но с этого дня он начал следить.

Мужчина замечал, как она смотрит на доктора — с теплотой, с благодарностью, с ожиданием. Замечал, как она поправляет волосы перед его приходом, как краснеет, когда он берёт её за руку для измерения пульса. Замечал и то, как сам доктор держится с ней: ровно, корректно, без фамильярности, но с той особой нежностью, которую невозможно подделать.

Орвин ничего не говорил. Но молчание его становилось всё тяжелее. Оно висело в доме, как грозовая туча, — и Анна чувствовала это. Чувствовала — и ничего не могла изменить.

*****

В середине февраля Густав решился на разговор с Гретой.

Он пошёл к ней сам, без приглашения. Дом повитухи стоял на отшибе, у самого леса, и был заметён снегом почти до окон. Из трубы шёл дым, но недостаточно густой — и Густав, постучав, не сразу дождался ответа.

Наконец дверь открылась, и на пороге показалась Грета, закутанная в ветхий овчинный тулуп.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.